



БОРИС ПИЛЬНЯК
**ПРОСТЫЕ
РАССКАЗЫ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
ПЕТЕРБУРГ
1923

Александр



Обложка, титульный лист, заставки,
концовки и заглавные буквы работы
Д. И. Митрохина
марка работы С. В. Чехонина

Главлит № 1563



4000 экземпляров

Графические Мастерские
Академического Издательства

БОРИС ПИЛЬНЯКЪ



ПРОСТЫЕ
РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
ПЕТЕРБУРГ

1923



ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ



враг был глубок и глух.

Его суглинявые и желтые скаты, поросшие красноствольными соснами, шли крутыми обрывами, а по самому дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес, — глухой, старый, затянутый мхами и заросший ольшаником. А наверху было тяжелое, серое, низко спустившееся небо.

Тут редко бывал человек.

Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут-же, застилая землю, гнили, и от них шел густой, сладковатый запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья берлога, в лесу было много волков.

На крутом, грязновато-желтом скате оборвалась сосна, перекинулась и повисла на много лет корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего осьминога, задравшиеся вверх, обросли уже кукушечьим мхом и можжевельником.

И в этих корнях свили гнездо себе две большие, серые птицы, самка и самец.

Птицы были большие, тяжелые, с серовато-желтыми и коричневыми перьями, густо растущими. Крылья их были коротки, широки и сильны; лапы с большими когтями заросли черным пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие, квадратные головы с клювами, хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами.

Самка была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая какая-то и грубая грациозность в изгибах ее шеи. А самец был суров, угловат, и одно крыло его, левое, не складывалось, как следует: так отвисало оно с тех пор, когда он дрался с другими самцами за самку.

Гнездо располагалось между корней. Под ним с трех сторон падал отвес. Над ним стлалось небо и протягивалось

несколько изломанных древесных корней. Кругом и внизу лежали кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и устлано пухом.

Самка всегда сидела в гнезде.

Самец же гомозился на лае корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым взглядом далеко кругом и внизу, сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.



Встретились они, эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага.

Уже нарождалась весна, по откосам таял снег, а в лесу и лощинах он стал серым и рыхлым, тяжелым запахом курились сосны, на дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки были зеленоватыми, долгими и настороженно гулкими. Волки ходили стаями, и самцы грызлись за самок.

Они встретились на поляне в лесу в сумерки.

Эта весна, солнце, мягкий ветерок вложили в тело самца неведомую тяготу. Раньше он летал или сидел, ухал или молчал, летел быстро или медленно, потому что кругом и внутри него были причины: когда он чувал голод, он летел, чтобы найти зайца, убить его и съесть, когда сильно слепило солнце или резок был ветер, он скрывался от них, когда видел крадущегося волка — отлетал поспешно от него.

Теперь было не так.

Уже не ощущения голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или молчать. Что-то, вне его и его ощущений лежащее, владело им.

Когда наступали сумерки, он, как в тумане, неведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от откоса к откосу, бесшумно двигая большими своими крыльями и зорко вглядываясь в зеленую, насторожившуюся мглу.

И когда, однажды, он увидел на одной из полян себе подобных и самку среди них, он, не зная, почему так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и великую ненависть к тем остальным самцам.

Он ходил около самки медленно, сильно оттаптывая, распустив крылья и задрал голову, и косо поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победителем, старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара клювом, и у них завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая: они налетали друг на друга, бились клювами, грудями, когтями, крыльями, глухо всклекотывая и разрывая друг другу тело.

Его противник оказался слабее и отстал, а он бросился снова к самке и ходил вокруг нее, немного прихрамывая и волока по земле окровавленное свое левое крыло.

Сосны обстали поляну, земля была вся засыпана хвоей, шипело ночное небо.

Самка была безразлична и к нему, и ко всем, она ходила спокойно по поляне, рыхлила землю, поймала мышшь, съела ее покойно. На самцов она, казалось, не обращала внимания.

Так было всю ночь.

Но когда ночь стала бледнеть, а у востока легла зелено-лиловая черта восхода, она подошла к нему, победившему всех, прислонилась к его груди, потрогала нежно клювом его больное крыло, точно обнюхивая и исцеляя, и, медленно отделяясь от земли, полетела к оврагу.

И он, тяжело двигая больным крылом, но не замечая этого, пьяно всклекотывая, полетел за нею.

Она опустилась как раз у корней той сосны, где потом стало их гнездо. Самец сел рядом. Нерешительным и точно смущенным был он.

Самка обошла несколько раз вокруг самца, обнюхала снова его. Потом, прижимая грудь к земле, расставив ноги и подняв хвост, сожмурив глаза, — замерла в этом положении. Самец бросился к ней, хватая клювом ее перья, хлопая по земле тяжелыми своими крыльями, — и в его жилах потекла такая прекрасная мука, такая крепкая радость, что он ослеп, ничего не чувял, кроме этой муки сладкой, тяжело ухал, нарождая в овраге глухое эхо и всколыхивая пред-утро.

Самка была покорной.

На востоке уже ложилась красная лента восхода, и снега в ложинах стали лиловыми.

Ш

Зимою сосны стояли неподвижными, и стволы их бу-
рели. Снег лежал глубокий, сметенный в большие горы,
хмуρο склонившиеся к оврагу, небо стлалось серо, дни были
коротки, и из них не уходили окончательно сумерки. А ночью
от мороза трещали стволы и лопались ветки. Светила в без-
молвии бледная луна и, казалось, что от нее мороз стано-
вится еще крепче.

Ночи были мучительны — морозом и этим фосфорическим
светом луны. Птицы сидели, сбившись в гнезде, прижимаясь
друг к другу, чтобы согреться, но все же мороз пробирался
под перья, шарил по телу, захлаживал ноги, около клюва
и спину. А блуждающий свет луны тревожил, напоминал,
будто вся земля состоит из одного огромного волчьего глаза
и поэтому светится так страшно.

И птицы не спали.

Они тяжело ворочались в гнезде, меняли места, и боль-
шие глаза их были кругло открыты, светясь в свою очередь
зеленовато. Наверное, если бы они умели думать, они
больше всего хотели бы утра.

Еще за час до рассвета, когда уходила луна и едва-едва
подходил свет, птицы начинали уже чувствовать голод:

во рту был неприятный, желчноватый привкус, и от времени
до времени больно сжимался зоб.

И когда утро уже окончательно серело, самец улетал за
добычей, летел медленно, раскинув широко крылья и редко
взмахивая ими, зорко вглядываясь в землю перед собой.
Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не
встречалось долго, он летал над оврагом, залетал очень далеко
от гнезда, на десяток верст, вылетал из оврага к широкому,
белому пространству, где летом была Кама. Когда зайцев
не было, он бросался и на молодых лисц, и на сорок, хотя
мясо их и было невкусно. Лисицы защищались долго
и упорно, сильно кусаясь, и на них нападать надо было
осторожно и умело: надо было сразу ударить клювом в шею,
около головы, и сейчас же, вцепившись когтями в спину,
взлететь на воздух, — в воздухе лисица уже не сопро-
тивлялась.

С добычей самец летел к себе в овраг, в гнездо, и здесь
с самкой они съедали все сразу. Ели они раз в день, и
наедались так, что было тяжело двигаться и зоб тянуло
вниз. Подъедали даже снег, замоченный кровью. А остав-
шиеся кости самка сбрасывала под обрыв.

Самец садился на лапу корня, ежился и хохлился, чтобы
было удобнее, и чувствовал, как тепло, после еды, бегаёт
в нем кровь, переливается нечто в кишках, доставляя насла-
ждение.

Самка сидела в гнезде.

Перед вечером самец, неизвестно почему, ухал:

— У-гу-у! — кричал он гортанным голосом так, будто звук в горле его проходит через воду.

Иногда его, одиноко сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся волк начинал карабкаться по отвесу вверх.

Самка волновалась и испуганно всклекотывала, а самец спокойно глядел вниз своими широкими, подслеповатыми глазами, следил за волком, — как волк, медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз, сметая собой комья снега, куврыкаясь и повизгивая от боли.

Подползали сумерки.



В марте, когда выросли дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег, долго зеленели сумерки и ходили стаями волки, добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу пред-весны, томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесом, не смея не бродить, безвольные во власти предвесенней томы; и их легко было ловить.

Всю добычу самец приносил самке, — сам он ел мало только то, что оставляла ему самка, — обыкновенно это были

внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова, хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное.

Днем самец сидел на лапе корня.

Светило солнце. Слабый и мягкий шел ветерок. На дне оврага шумел сильно черный и поспешный теперь ключ, резко вычерченный белыми берегами снега.

Было холодно. Самец сидел с закрытыми глазами, втянув голову в шею. И в его наружности было много покорности, истомного ожидания и смешной какой-то виновности, так не вяжущейся с его суровостью.

В сумерки он оживлялся. В него входила тревога. Он поднимался на ногах, вытягивал голову, широко раскрыв круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал их, бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь, ухал:

— У-гу-гу-у! — кричал он жутко, пугая лесных жителей.

И эхо в овраге отвечало:

— У-у...

Были зелено-синие сумерки. Небо вымощивалось крупными, будто новыми, звездами.

Шел маслянистый запах сосен. В овраге стихал на ночь, в морозе, ручей. Где-то на токах кричали птицы. Но все же было настороженно-тихо.

Когда темнело окончательно и ночь становилась синей, самец, крадучись, виновато, осторожно расставляя большие

свои, не умеющие ходить по земле, ноги, шел в гнездо к самке. Его тянула к ней большая, прекрасная страсть.

Он сидел рядом с самкой, гладил клювом ее перья; и все попрежнему была в нем смешная немного и нелепая для него виновность.

Самка была доверчива к его ласкам, казалась слабой и мягкой очень; но за этой мягкостью чувалась большая ее сила и власть над самцом; быть может, даже в этой мягкости чувалась она.

На своем языке, языке инстинкта, самка говорила самцу:
— Да. Можно.

И самец бросался к ней, весь изнемогая в страсти. И она отдавалась ему.



Так было с неделю, с полторы.

Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила:

— Нет. Довольно.

Говорила она, инстинктом своим чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора — пора рождения детей.

И самец, смущенный, будто виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, вложенного в самку, уходил от нее, чтобы прийти через год.



И с весны все лето до сентября они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным и необходимым делом рождения, — до сентября, когда улетали птенцы.

Многоцветным ковром разворачивались весна и лето. Горячими огнями горели они. Сосны украсились свечками и маслянисто пахли. Поляны пахли. Цветы и отцветали: свирбига, цикории, колокольчики, лютики, рябинки, иван-дамарья; чертополохи колючились.

В мае ночи были синими.

В июне — зеленовато-белыми.

Алым пламенем пожара горели зори, а от ночи по дну оврага белыми, серебряными пластами, стирая очертания сосен, шли туманы.

Сначала в гнезде было пять серых, с зелеными крапинками яиц.

Потом появились птенцы: большеголовые, с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они жалобно пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и много очень ели.

В июне они уже летали, все еще головастые, плакающие, нелепо дергая неумелыми крыльями.

Самка была все время с ними, заботливая, нахоленная и сварливая.

Самец не умел думать и едва ли чувствовал это, но чувствовалось в нем, что он горд, у своего прямого дела, которое вершит с великой радостью. И вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов.

Он рыскал за добычей.

Надо было ее очень много добывать, потому что и птенцы, и самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там ловить чаек, всегда роящихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как лесные пожары, — около пароходов.

Он сам кормил птенцов. Разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватили эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза, покачиваясь от напряжения, глотали.

Иногда кто-нибудь из птенцов, по глупости, вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо, клекотал, будто ворчал; брал его осторожно и неумело когтями и приносил, испуганного и недоумевающего, обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из

осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно.

Ночами он не спал.

Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и мать от опасности.

Над ним были звезды.

И он иногда, чуя полноту жизни, красоту ее, — казалось так, — грозно и жутко ухал, встряхивая эхо.

— У-гу-гу-гу-у! — кричал он, пугая ночь.



Он жил зимы, чтобы жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал это потому, что так велел Бог, так велел тот инстинкт, который правил им.

Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны.

Веснами же — он родил.

И тогда по жилам его текла горячая кровь, было тихо, светило солнце и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухать беспричинно-радостно.

VIII

Осенью улетали итенцы. Старики с молодыми прощались навсегда, и прощались уже безразлично.

Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко опускалось небо. Ночи были тоскливы, мокры, черны. Старики сидели в мокром гнезде, трудно засыпая, мерзнув, тяжело ворочаясь. И глаза их светились зеленовато-желтыми огоньками.

Самец уже не ухал.

IX

Так было тринадцать лет их жизни.

X

Потом самец умер.

В молодости у него было испорчено крыло, с тех пор как он дрался за самку. С годами ему все труднее и труднее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за ней, а ночами не мог уснуть, чуя большую, нудную

боль во всем крыле, было страшно очень, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало странно важным и мучительным.

Ночами он не спал, свешивал крыло, будто отталкивал от себя. А утрами, едва владея им, он улетал за добычей. И самка бросила его.

Пред-весной, в сумерки она улетела из гнезда.

Самец искал ее всю ночь и на заре лишь нашел, — она была с другим самцом, молодым и сильным, нежно всклеко-тывающим около нее. И тогда старик почувствовал, что все, данное ему в жизни, кончено. Он бросился драться с молодым, но дрался неуверенно и слабо. А молодой кинулся к нему сильно и страстно, рвал его тело и грозно клекотал. Самка же, как много лет назад, безразлично следила за схваткой.

Старик был побежден.

Окровавленный, изорванный, с вытекшим глазом, он улетел к себе в гнездо, тихо опустился на свою лапу корня. И чулось в нем, что с жизнью счеты его кончены. Он жил, чтобы есть, чтобы родить. Теперь ему оставалось — умереть. Верно он чувствовал это инстинктом, ибо два дня сидел тихо и неподвижно на обрыве, втянув голову в шею.

А потом, спокойно и незаметно для себя, умер. Упал под обрыв и лежал там с ногами скрюченными и поднятыми вверх.

Это было ночью. Новыми были звезды. Кричали в лесах, на токах птицы. Где-то ухали филины.

Самец пролежал пять дней на дне оврага. Он уже начал разлагаться, и горьковато, скверно пахнул.

Его нашел волк и съел.

Август 1915



СМЕРТЕЛЬНОЕ МАНИШ



Пахнет июньское сено, в сущности, плохими духами, — и все же нет запаха сладостнее, в июне ночами горько пахнет березами, и рассветы в июне — хрустальны.

То, чем встретит земля человека, то навсегда остается ему. Алена родилась в лесной сторожке, где были небо, сосны, песок и река. Но по реке вправо и влево были дуга, и Алена знала от матери своей, что желтый зверобой, июньского цве-

ния, — бородавки со стеблей его и листьев, настоенные, — идет людям от груди; что лапчатка желтая — от головной боли и простуды помогает очень; что тысячелистники розовые и белые — от порезов, от порезов же и столетник; что шалфей пряный — от зубов, от горла, от зубов же — ромашка; можно еще ромашкой вытравить из чрева ребенка; что мята сладкая — от хрипоты и груди; что чистотел невзрачный — оранжевый сок из корешков его — от бородавок; что сороко-недужник строгий — от всех земных телесных болестей; что единственная трава от змеяного укуса — цветочек незаметный, синий — звездочка; что чертополохом синим, колючим, что растет на откосах, изгоняют из избы чертей. Вместе с матерью собирала Алена эти травы пред сенокосом в июне, — все они июньского цветения, кроме чертополоха, колкого и синего, августовского. Вместе с матерью ставила на травах для зимы настойки.

В июне родилась Алена, и навсегда осталось в памяти у нее июньское сено, сладко пахнущее, и вся июньская сенокосная страда.

Девочкой же узнала она, что — смертельное манит.

Рядом со сторожкой проходила насыпь и шел через реку железный мост, по которому, рокоча, пролетали поезда. Весной, в полую воду, разливалась река, и люди ходили в заречье по мосту. Перед Пасхой, когда буйничала весна, таяли снега, слепило солнце и лес гудел птичьими токами, в ослепительный день проходил по насыпи студент, заречный

барин. Был он молод и здоров, с фуражкой на светлых кудрях, в смазных сапогах, подходил к окошку, просил попить, смеялся.

— День-то какой, благодать! Тяга теперь какая. Через мост, значит, можно? — смеялся громко, беззаботно, красивый, молодой, здоровый, с расстегнутым воротом синей косоворотки и с капельками пота на белой шее. — Ах, благодать-то какая тетка Арина!

Взглянул на Алену, усмехнулся, сказал:

— Дочка, что ли? Красавица будет. Ой, красавица!

Мать называла студента по имени-отчеству, говорила ему, чтобы шел — не смотрел вниз, — вода по весне быстрая, закружится голова. Студент снял фуражку, тряхнул кудрями и ушел. Дошел до середины моста и бросился в воду: чудом спасся, — нанесло его водою на старый бык, оставшийся от прежнего моста.

И вечером мать рассказывала дочери, что — смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда. Девочкой не поняла этого Алена, — в тот вечер, когда шумело половодье и в открытое окно шел запах свежей земли. Но потом поняла, поняла уже девушкой: через несколько весен сама стояла на мосту в половодье и чувствовала, что манит, — манит вода, — неведомое, смертельное, — и углубила, поняла, что смертельное манит повсюду, что в этом — жизнь, манит кровь, манит земля, манит — Бог.

Девушка ходила за реку, на село, на гулянки, пела на откосе с девушками песни и водила хоробы, встретила парня и полюбила его, и быть бы свадьбе, но мать ее, Арина, вдруг заупрявилась, а потом покаялась дочери, говорила:

— Аленушка, ведь жених-от твой — родной твой братед. Грех... давно это было, молодая была, на сенокосе — согрешила с отцом его. Отец-от твой в солдатчине был. Грех приключился, — говорила тихо, шопотом, утирала кончиком платка уголки губ, некогда красивых.

Мать покаялась, а Алена перестала ходить на откос, проводила вечера около своей сторожки, ночами прислушивалась к перепелиному крику, следила за речным туманом, и еще раз почувяла, что — смертельное — грех манит; грешное манит так же, как и святое, и рубежом всему — смерть.

Так прошла молодость, в избе над соломенным навесом, где были около небо, сосны, песок и река с лугами, с цветами и травами.



Потом была жизнь.

Любит каждый однажды, и всегда любовь несчастна, ибо иначе не может быть и должно так быть, потому что после любви человек становится подлинно человеком, потому что

страдание очищает; красота и радость любви — в тайне ее. И никто не знал, как тосковала Алена ночами молодая, одинокая, с молодым своим телом, — в июне, в июньские сенокосные ночи. Поэтому она осталась и вековушкой, не вышла замуж до положенных своих двадцати лет, после которых редко берут уже девушку; поэтому не показывала никому и поминальной своей книжечки, где на первой странице было написано здравие раба Божьего Алексия, первого ее жениха, кровного ее брата. Помогала матери в собирании трав, ходила за отца по рельсам с фонарем и зеленым флагом, пряла зимними вечерами на бесконечной прялке. Так было до двадцать четвертого года; остро начала чувствовать Бога с смертельными тайнами, ходила в церковь и молилась зарями, — ведь всегда религиозное связано с плотским, с телесным...

С тех пор, с того апреля, как мать рассказала о том, что смертельное манит, прошло пятнадцать лет. Из Алены-девочки стала красивая женщина, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, опущенными скромно долу.

Тот же молодой студент, что тогда смеялся и стоял под окошком с расстегнутым воротом, радостный и бодрый, успел уже сильно разменять свою жизнь так, как разменивали ее многие русские бары: женился неудачно, метался с женой по России и за границей, все время тоскуя по своему поместью и тихой, разумной жизни; разошелся с женою не скоро и трудно, потратив на это все, что было отпущено

ему для творения жизни; вернулся, наконец, в свою усадьбу в Марьин Брод, поселился один в старом доме, зарылся книгами. Был он уже зрелым мужчиной, с бородою окладистой, с усталыми уже глазами и печальной улыбкой.

И Алена ушла к нему жить. Правила народа нашего строги и просты, — каждый родившийся должен по весне обвенчаться, родить и потом умереть; всем же отступившим от этого можно делать по-своему свою жизнь, — и не грех, если вековуха пойдет ко вдовцу в работницы, не грех, если ко вдове заезжают почтари со станции, — не осудит их никто ведь цветет рожь и в цветении своем несет колосы, ведь ржат по весне в полях лошади, токуют на токах птицы и поют на откосе девушки.

Алена ходила в церковь к обедне, дома плакала потихоньку, потом взяла на плечи сундучок свой и пешком пошла за реку, в усадьбу Марьин Брод; уходя остановилась в дверях, окинула взором избу, сказала тихо:

— Что же, прощайте. Ухожу.

И ушла, — никто не осудил, не понесла греха.

Опять был июнь. Во ржи в полях кричали перепела, небо было зеленым, солнце садилось на западе, и на востоке стал хрустальный серп; шла тихо, срывала колосики и высасывала сладко-вяжущий сок из будущих зерен.



В усадьбе у барина Полунина прожила она пять лет.

Пришла к нему вечером, поставила в кухне на скамью сундучек, прошла в его кабинет. Полунин сидел у стола. Сказала:

— Вот я, барин. Пришла, — и, как мать ее, платком утерла уголки губ, еще красивых очень.

Полунин был из тех русских бар, что ищут правду и Бога. и позвал к себе Алену он потому, что полюбил ее и еще потому, что думал в ней найти правдивое и естественное, отдохнуть с ней и создать жизнь правильную и крепкую. Они жили вдвоем в усадьбе, сами справляя хозяйство. Полунин учил Алену грамоте и читал с ней Жития, сам увлекающийся ими, ищущий подлинно-русское.

Через полгода у них родилась дочь Наталья, — и Алена предалась ребенку, в нем и через него чувствуя жизнь. Была жизнь ее проста и сурова, как жизнь и Полунина, — вставала с зарей, молилась Богу, шла доить коров, готовила к обеду, снова в полдень доила коров, была с ребенком, кормила его, пеленала, мыла. Никто к ней не ходил, не ходила и она. и куда, кроме церкви. Зимой заметала их метелица, весной к самой усадьбе подходила река, осенью шли дожди и стояли

пустынные, ясные, холодные дни. Полунип сидел за книгами, рубил дрова, говорил о правде и — не примечал, верно, что слова его о добре иной раз были черствы и злы, — люди стареют.

Год сменялся годом. Весны многое творят в жизни человеческой, — у Алены был еще июнь, пахнувший травами с горьким березовым рассветом и с хрустальным серпом над горизонтом. Девочка Наталья умерла.

Смертельное — манит. Девочка Наталья умерла в апреле, и жизнь Алены стала пустой. Бог всегда был с нею — у нее в сердце. Хоропить ходили с Полуниным через мост, — разлилась река. Оттуда шли молча, рядом, на мосту остановились на минуту, — верно, каждый вспомнил о своей молодости, — пошли тихо дальше; в доме было сыро, пустынно и темно.

И когда подошел июнь, Алена решила — итти. Смертельное — манит, манит броситься с моста в полую воду, манит — в дали, в конец, чтобы итти, итти, — и есть люди, которые уходят.

Сзади была жизнь, в которой остались июнь с его травами, жених Алексей, дочь Наталья, быть-может, Полунип, материна тайна, — впереди осталось смертельное — Бог и дорога.

Утром сказала Полунину:

— Ухожу завтра, прощай!

— Куда уходишь?

— Так... в монастыри... куда придется... в святые места.

И ушла, отнесла сундучок свой к матери в сторожку, а на рассвете вышла, шла полями, ржаным морем, раскусывала сладко-вяжущие ржинки, смотрела в небо, шла от креста колокольного ко кресту, чуяла, — чуяла, как нахнет июнь, и думала, глядя на дорогу, что подорожники — от пореза, от лишаев, что синенькие звездочки — от змеиного укуса.

В монастырях молилась, — вынимала просвирки за упокой...

Согрешила только однажды, в монастырской гостинице, в темном коридоре: сладок грех около Бога, и смертельное — манит.

Март 1918





С М Е Р Т И



олотые дни «бабьего лета», казалось, установились надолго.

Солнце на синем, пустынном небе, где курлыкают летящие на юг журавли, светит, но не греет, в тени за домами лежит иней. Воздух — синь чрезмерно и крепок своим бодрящим холодком, а тишина — черства. Колонны террасы, обвитые виноградником, аллеи из кленов и земля под ними сгорают в багрянце листопада. Озеро стоит синим, зер-

кально-гладким, в нем отражается белая пристань с лодкой-лебедями и статуями. В садах фрукты уже сняты, листья опали; здесь, в поредевших деревьях после лета, нелепо пустынно.

В такие дни от бодрящего холодка, от крепкого воздуха настроение становится бодрым, здоровым и ровным. Спокойно думается о бывшем и будущем. Лень спешить куда-либо. Хочется ходить по опавшим листьям, а в садах — искать незамеченные, забытые яблоки и слушать курлыкающих, летящих на юг, журавлей.



Ипполиту Ипполитовичу сто лет без года и трех месяцев со днями. В Московском университете он учился вместе с Лермонтовым и дружил с ним, увлекаясь Байроном. В шестидесяти годах, уже под пятьдесят, вместе с государем Александром, он обсуждал освободительные реформы, а дома зачитывался Писаревым.

Теперь только по огромному костью, обтянутому пергаментной кожей, можно узнать, что когда-то был он велик очень, кряжист и широкоплеч, большое лицо все заросло длинными желтовато-белыми волосами, ползущими с носа

со скул, со лба, из ушей, по череп — лыс; глаза выцвели и белы; руки и ноги ссохлись и кажутся нарочито-тонкими.

В его комнате пахнет воском и тем особым затхлым запахом, который имеется у каждой старой барской семьи. В большой комнате пусто, — только массивный, красного дерева и с выцветшим зеленым сукном, письменный стол, заваленный старинными нужными безделушками, вольтерово кресло и диван. Лепной потолок, стены крашены под мрамор зеленовато-белой краской, в виде дракона камин, полы из паркета карельской березы, стекла в окнах, закругленных вверх, без гардин, и с частым переплетом рам, выцвели позеленели и по ним разбегается радуга. В окна идут холодные, бодрые лучи осеннего солнца, ложатся на стол, на часть дивана, на пол.

Старик уже давно не может спать ночами, чтобы бодрствовать днем. Уже лет двадцать прошло, как про него верно можно сказать, что он почти все двадцать четыре часа суток спит, точно так же, как верно будет и то, что эти же сутки он бодрствует, — он всегда дремлет, лежа с полузакрытыми своими выцветшими глазами на большом облупившемся диване, обтянутом свиной кожей английской выделки и постланном медвежьей шкурой. Закинув правую руку за голову, он лежит дни и ночи. И если и ночью, и днем окликнуть его:

— Ипполит Ипполитович!

Он всегда через пол-минуты откликнется:

— Так?

У него мыслей нет. Все что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. Все изжито и думать ему не о чем. У него нет и ощущений, ибо все органы восприятия отупели.

Ночью шумят мыши. В пустынном колонном зале, что лежит рядом, бегают и гулко шлепаются, падая с кресел и столов, крысы.

Старик не слышит.



Утром, в семь часов, приходит Василиса, Васена, баба лет тридцати семи, крепкая, здоровая, румяная, напоминающая польский день своей цветистостью и ядреным здоровьем.

Она говорит покойно:

— Доброго утра вам, Ипполит Ипполитович.

И Ипполит Ипполитович отвечает голосом спетой граммофонной пластинки баса:

— Так?!

Васена деловито моет его губкой, кормит манной кашей. Старик сидит на диване сгорбившись, положив руки на колени. Ест медленно с ложечки. Молчат. Глаза старика

смотрят куда-то внутрь, невидяще. В окно идет золотое, бодрое солнце, блестит в белых волосах старика.

— Сынок ваш приехал Илья Ипполитович, — говорит Васена.

— Так?!

Ипполит Ипполитович женился на четвертом десятке лет; из трех его сыновей в живых остался один — Илья. Старик вспоминает своего сына, восстанавливает его образ и не чувствует ни радости, ни заботы — ничего. Где-то далеко затерялся длинный, расплывающийся образ сына, сначала ребенка, потом мальчика, юноши, а теперь уже тоже почти старика. Вспоминается, что когда-то, давно этот образ был нужен и дорог, потом утерялся и теперь — безразличен.

И лишь по инерции старик переспрашивает:

— Приехал, говоришь?

— Да. Отдыхают теперь. Ночью приехали. Один.

— Так!?. Меня приехал перед смертью посмотреть, — говорит старик.

Васена деловито откликается:

— Что же?! Ваши годочки не такие, чтобы...

И старик и Васена спокойны.

Молчат.

Старик откидывается к спинке дивана и дремлет.

— Ипполит Ипполитович, вам надоть итти гулять.

— Так?!

Воздух «бабьего лета» синь и крепок... Где-то далеко наверху кричат журавли. Старик в чесучевой фуражке, нагнутой глубоко на лоб, в черном длинном пальто, сгорбившись, опираясь на бамбуковую трость с изображениями змей и поддерживаемый здоровой Васеной, ходит по кровавым листьям виноградника около белой террасы, залитой холодным солнцем.



Иногда старик замирает на несколько часов. Из него уходит окончательно, так кажется, жизнь. Он лежит землисто-бледным, с помертвевшими губами, с глазами открытыми и стеклянными, почти не дыша. Тогда гонят лошадей за врачом, и врач впрыскивает камфору и делает искусственное дыхание, дает дышать кислородом. Старик оживает, медленно, бессмысленно поводя глазами. Врач сосредоточенно и важно говорит:

— Если бы еще одна минута, была бы смерть.

Когда старик отходит окончательно, Васена ему повествует:

— Так уж боялись, так уж боялись... Совсем, думали, умерли уж... Да, ведь, и то, — годочки ваши не такие, чтобы...

Ипполит Ипполитович слушает безразлично и молча, и лишь иногда, вдруг, нелепо сожмуриваясь, щуря глаза и растягивая губы, смеется.

— Хгы!-хгы! — смеется он и хитро добавляет: — умру, говоришь? хгы!-хгы!



Илья Ипполитович, сын, ходит по пустынным комнатам умирающего дома. Пыльно и затхло здесь; через мутные стекла идет солнце, в нем золотятся пылинки. Илья заходит в комнату, где прошло его детство. На подоконниках, на креслах, столах, на полу — везде насталась серая пыль. На полу видны свежие, редкие следы ботинок. На столе — нездешний — лежит тощий чемодан, со многими наклейками железных дорог. Твердая, затаившаяся тишина застыла в доме. Сын так же громоздок, как и отец, но он ходит еще очень прямо. Волосы уже поредели, на висках седеют, а лицо — по молодому — брито. У губ уже серые морщинки. У него серые, большие и уставшие глаза.

У сына, Ильи Ипполитовича, сумрачно и тяжело на душе при мысли об отце, потому что дни его, отца, подсчитываются; и он тоскливо думает о нелепости смерти и о том, как держать себя с человеком, который обречен окон-

чательно. Но ходит он в то же время — от угла до угла — бодро очень.

Отец и сын встречаются у террасы.

— Здравствуй, отец, — говорит бодро сын, нарочито-беззаботно улыбаясь.

Отец, старик, сначала не узнает сына, смотрит безразлично, но потом улыбается, идет по ступенькам наверх и подставляет щеку для поцелуя; от щеки его пахнет воском.

— Так?! — говорит старик.

Сын целует его, крупно смеется, хлопая по плечу.

— Давно не видались, отец! как живешь?

Отец смотрит на сына из-под козырька фуражки, улыбается бессильно и не сразу говорит:

— Так?!

Васена отвечает за старика

— Уж какое житье их, Илья Ипполитович?.. Что ни день, то все боимся, — говорит она речитативом.

Илья Ипполитович бросает укоризненный взгляд Васене и говорит громко:

— Нуstyки, отец! Ты еще сто лет проживешь!.. Ты устал, отец! Присядем вот сюда, отец. Потолкуем!..

Они садятся на мраморную ступень террасы.

И молчат.

Сын краснеет, напрягает мучительно мысли и не находит, что сказать.

— А я все картины пишу... За-границу собираюсь... говорит он.

Старик не слушает, смотрит невидяще и бессмысленно и вдруг спрашивает:

— Это ты приехал меня посмотреть? Умру скоро!..

Илья Инполитович бледнеет пятнами и растерянно говорит:

— Что ты это, отец, как ты это!?..

Но отец уже снова не слушает. Он откидывается к барьеру. Глаза его полузакрыты и стеклянны, лицо утеряло всякое выражение.

Он дремлет.



Светит солнце, небо синее, в прозрачных далах над землею разлит хрусталь. Илья Инполитович ходит по парку и думает об отце. У отца была большая, полная и богатая жизнь. Было так много хорошего, нужного и светлого. А теперь — смерть. И не останется ничего. Ничего! И это ничего — Илье Инполитовичу кажется ужасным. Ведь жизнь, свет, солнце, все, что есть кругом и внутри человека, человек познает через самого себя. Умрет человек, умрет для него мир. И он уже ничего, ничего не будет

ни сознавать, ни чувствовать. Для чего же тогда жить, развиваться, работать, когда концом будет — ничто?.. Ведь в его, отцовых, ста годах чувялась какая-то большая мудрость, и еще он был — отец.

Где-то, далеко в пустынной синеве, кричат журавли:

— Курлы, курлы-ы, — несется с пустынного неба от едва заметной черной стрелки, направленной к югу. Под ногами шуршат листья, красные и подернувшиеся инеем. Большое лицо Ильи Инполитовича бледно. Устало и бесспильно сложены серые морщинки у губ.

Он, Илья, целую жизнь прожил одиноким и одним в холодной мастерской, тяжело живя, среди картин и для картин. Для чего?



Инполит Инполитович в большой и пустынной столовой, повязанный по-детски салфеткой, ест бульон и куриные котлеты: Васена кормит его с ложечки. Потом она отводит его в кабинет. Старик ложится на диван, закидывает руку под голову, дремлет с полуоткрытыми своими глазами.

К нему приходит Илья Инполитович. Он опять нарочно-бодр, но в глазах, уже усталых, — тоскование. А в его

бритом лице, в сером английском костюме и желтых ботинках, чувствуется почему-то большая, измотанная, запутанная душа, сейчас страдающая и хотящая скрыться.

Он садится у ног отца.

Отец долго шьет его глазами, говорит, точно граммофонная пластинка спетого баса.

— Так?!..

— Давно не видалась мы, отец! Хочется поговорить мне с тобой! Ведь, как-никак, отец, а дороже тебя нет, ведь, у меня никого, отец! Как живешь, отец? — говорит сын, бодро встряхивая седеющими кольцами волос.

Старик глядит невидящими глазами, — кажется, не слушает; — вскоре, жмурясь хитро, растягивая губы, открывая пустые свои челюсти, старик смеется и говорит:

— Хгы! хгы!.. — смеется он и бодро говорит: — Умру скоро! хгы! хгы

Но Илья уже не теряется так, как первый раз у террасы, и только быстро, очень тихо, почти шепотом, спрашивает:

— А разве не боишься?

— Нет! Хгы! хгы!..

— В Бога веришь?

— Нет! Хгы!

И отец, и сын молчат долго.

Старик опять улыбается хитро, поднимается на локте и говорит:

— Вот, когда человек спать хочет... дороже всего — сон... так и умереть — захочешь... понимаешь? Когда усташешь...

Старик смолкает на минуту и потом смеется хитро.

— Хгы! хгы! Понимаешь?!.. — говорит он.

Илья смотрит на хитрое лицо отца, смотрит долго широко-раскрытыми глазами, не шевелясь, и в него вселивается страх.

А старик уже дремлет.



Дель ушел. Осенне-синие сумерки застилают землю и смотрят в окна. В комнатах — синий дымок и шарят тени. За стенами мороз. Четкая, зеленая поднимается луна.

Ипполит Ипполитович лежит на синем диване, заложив правую руку за голову, с полу-закрытыми глазами

Он ни о чем не думает. И пет у него ощущений. То место, что он занимает, что занимает его тело, похоже на большой, темный, пустой ларь, в котором нет ничего. Где-то близко пробегает и шлепается крыса; — старик не слышит. Шалая осенняя муха садится около глаза: — старик не мигает. От иссохших пальцев ног в иссохшие голени, в бедра, в живот, к груди, к сердцу идет слабая, едва заметная, сладкая немота и замирает.

Уже вечер; в комнате уже черно; туман на фоне окон кажется густым и страшноватым. За окнами, где светит

в хрустом морозце луна, — светлее, чем в комнате. Старик лежит, закинув руку за голову, с полузакрытыми, стекляннопутскими глазами; лицо его, все заросшее белыми волосами и с лысым черепом, мертвенно.

Входит Васена, спокойная, крепкая, с широкими бедрами и ядреными грудями, свободно прикрытыми красной кофтой.

— Ипполит Ипполитович, кушать надо, — говорит она деловито.

Но Ипполит Ипполитович не откликается, не говорит своего обыкновенного — «Так?!..»

Скачут, взмыливая лошадей, за врачом. Врач щупает пульс; подносит к губам зеркало. Вскоре сосредоточенно и важно говорит:

— Умер.

Васена у дверей, в красной своей кофте, немного похожая на зверя, спокойно откликается:

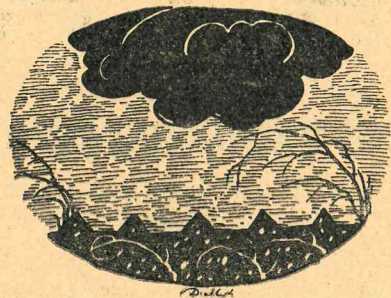
— Да как же, годочки его... Все порем... Да уж что ему? Уж чего-чего не было в ихней жизни? Все было! — говорит она.



Ночью, перед утром, проходят низкие, пушистые облака. За ними идут тучи. Падают снег крупными, холодными, спокойными пушинками.

«Бабье лето» умерло, но народилась другая земная радость — первая белая пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам.

1915 Сентябрь





ВСЕГДА КОМАНДИРОВКА



Весь день провел на карьере, подкладывал фугасы и рвал известняк. Внизу, в лошине, лежал завод, дымились трубы, к карьере и от него бежали, поскрипывая, вагонетки. Наверху, над обрывами, стояли мокрые сосны. Небо весь день было серым, сырым, дым из труб стлался по земле. Фугасы взрывались с рокотом и дымом.

Шел домой с штейгером Бицкой, уже упала осенняя темнота и ярко горела турбинная. Инженерский поселок лежал

по ту сторону, в расчищенном лесу, цементные постройки домиков стояли однообразно, горели, свистели голубые шары фонарей, кидая черные тени от сосновых ветвей и стволов. Кожаная куртка прилипла к спине; верно, также она прилипла и у Бицки. Бицка говорил:

— Дома сейчас чайку, казетка, Александр Александрович шена, — Бицка недавно женился.

А в доме инженера Александра Александровича Агренева было темно, в окна падал свет фонарей, и лишь в комнате жены, сквозь плотно сдвинутые двери виднелся свет: — любимая жена, одна на всю жизнь, — чужая. Раздевался, мылся, пошел дождь — зашумел по крыше, взял газету. Вошла горничная, сказала — чай готов.

Анна высокая, тонкая, прекрасная, чужая, стояла у окна, спиной к нему, с книгой; около, на подоконнике стоял стакан, запотело стекло. Не повернулась, сказала — паливай чаю.

Электричество горело ярко и холодно. Нахло клеём от свежих поделок. Не сказала больше ни слова, тонкие пальцы перебирали страницы, — читала стоя, склонив голову. Спросил:

— Ты уйдешь вечером, Анна?

— А? Нет, буду дома.

— Кто-нибудь придет?

— А? Нет, никто. А ты уйдешь?

— Не знаю, наверное. Завтра я еду в командировку, на неделю.

— А? Да, в командировку.

Остался, остался бы, говорил, говорил бы бесконечно много — обо всем: о том, что без личного невозможно, без любви нельзя, о своей любви и о тоскливых своих вечерах, — и тоже замолчал.

— Ася спит?

— Да, уже.

На столе, на холодной белой скатерти, в прямых складках — стоял никелевый чайник, одинокий стакан. Ровно щелкали часы.

— Не обманет, не изменит, не уйдет, — а чужая, чужая, — и мать.



Мрак окончательно укутал землю, фонари вырезывали в нем белые шары, дождь капал безнадежно, безнадежно ревел заводский гудок.

Шел по квадратным аллеям парка, через парк, к клубу, не дошел, свернул к школе, пошел к Нине: вместе, в маленьком городишке, учились — и с тех пор, ибо любовь одна, — он остался для нее навсегда — одним, единственным: металась по России, боролась с собою, с ветренными мельницами своей чести, — не смогла, сломилась, — приехала, чтобы жить подле.

Шел темными коридорами школы, постукал.

— Войдите.

В маленькой комнате, у маленького столика — с книгой, одна, в сером платке, некрасивая, с щекой, покрасневшей от ладони, — и заметил с тоскою, что глаза ее углубились, засветились нежно, встала, кинула книгу.

— Ты, милый? Здравствуй. Дождик?

— Здравствуй. Пришел посидеть.

— Скинь пальто, хочешь чаю, — протянула обе руки; без слов говорила — спасибо, спасибо.

— Как живешь?

— Устаю. Ничего. Очень устаю.

Ставила в игрушечной кухонке самовар, на столе — около тетрадей — раскладывала баночки с вареньем, усадила в единственное кресло, — суетилась, улыбалась, алела щека — не могла померкнуть — на том месте, что подпирала ладонь весь долгий вечер, — любящая, отдавшая все, от которой ничего не надо.

— Не надо... суетиться. Потолкуем... Сядь же.

Так нежно коснулась руки, стала рядом.

— Что, милый? — гладила руку, обжигалась касаниями. — Что, милый?

Иногда негодовала, ломала руки, говорила с ненавистью, туманились глаза в возмущении, иногда становилась на колени, молила и плакала, — но всегда была нежною, тою, от которой ничего не надо...

— Что, милый?

— Устал. Ведь она, — Анна, не любит. Не уйдет, не обманет, — не любит. Знаю, — любишь...

Дома стены, холодно. Штейгер Бицка, румяный, весь день шутит, в дождь. Подождет и стоит у шнура. Тридцать лет — пять десятых жизни — половина — десять двадцатых. Холостой патрон. Нету ласки. Без личного невозможно.

Показалось — потухла лампа, на глаза легло теплое: ладони. Сначала слова были тихи, потом безумны.

— Уйди, уйди, милый. Иди ко мне, — пусть не любишь, — люблю, люблю...

Промолчал.

— Молчишь? Все отдам, все будет. Отдай мне ребенка. Ведь она — она мертвая. Ей ничего не надо. Слышишь? — Отдай... Все страданья возьми себе...

Опять вспыхнула лампа, — серенький человеческий комочек упал на узкую девичью кровать.

Мрак стал так, что не было видно в двух шагах. Около барачков горлачили рабочие и пиликала гармоника. Кто-то свистел во мраке в два пальца, озорно и нелепо гогоча. Фонари по-прежнему вырезывали белые круги. Шел, освещая дорогу карманным фонариком, машинально выбирая дорогу, и рядом во мраке, по лужам, спешила за ним Нина. Сосны шумели

глухо, и было дико и страшно. Говорил, не думая, что говорит, думал вслух:

— Тебя, Нина, не люблю. Мне от тебя ничего не надо. Анна, Анне — приказал отец. Старая кровь. Анна сказала — никогда не полюбит. Ася растет у нее — люблю ее, дочку мою, — смотрит на меня пустыми глазами, чужая — тоже чужая — моя дочь. Я украл ее мать, — украл ее от небытия. Приду домой и лягу один. Или пойду к Анне, и она примет меня с сжатыми губами. От тебя дочери — не хочу. Зачем?.. Завтра то же, что и вчера.

Уже на инженерском поселке, около дома, вспомнил о Нине, заботился:

— Простудитесь, голубушка, и страшно возвращаться...

Постоял против нее, помолчал, протянул руку.

— Ну, всего хорошего.

Прошла мимо ватага парней, кто-то осветил фонарем.

— Ай-да училка. С инженерами. Го-го-го... — заготовали, запели враз похабную частушку:

Подавали девки в суд

Земскому начальнику... 9!!



Пред спом раскладывал пасьянс, ел холодный ужин, у Анны был свет, долго стоял у ее двери, постучал. — «Войдите». — Зашел на минутку: сидела у столика, с книгой,

книгу положила на раскрытую тетрадь - дневник. Когда, когда он узнает, что там?

— Завтра с ранним уезжаю в Москву в командировку. Вот, пожалуйста, возьми денег на хозяйство.

— Спасибо. Когда приедешь?

— Через неделю, — стало быть в пятницу, на той неделе. Ничего не падо?

— Нет. Спасибо, — встала, подошла, поцеловала щеку около губ. — Всего хорошего, прощай, Асю не беспокой.

И опустила к столу, спиною, взяла книгу.

На рассвете подали лошадь, ехал с Бицкой по шоссе на пассажирскую, было сыро; в дожде, мраке, черные, торопились ко второму гудку рабочие; обогнало на автомобиле начальство и сейчас же заревел гудок. Бицка, в котелке, с редкими латышскими усиками, румяный, смотрел кругом строго.

— Не выспалсь, Роберт Эдуардович?

— Нет, не то. У меня плохая настроение, — помолчал. — Мне сорок лет, а мой шена — восемнадцать. Мне падо шена серьезная, песмолфная, хосийка. Она фсе шутит и таяет мена са узы, и смеется. Прафда, не выспалса. Тага мерку к новым патинки... Ерунта... — и улыбнулся узкими своими хитрыми глазками. — Шенщина!..

БОЛЧИЙ ОВРАГ



Агреев в детстве, ребенком, слышал из разговора матери о том, что вот Нина Калистратовна Замоткина с дочерью ходила — сегодня утром в девять часов — к фельдшериде Часовниковой на квартиру давать пощечину Часовниковой, которая разбила семейный очаг, потому что у ней была связь с Павлом Александровичем Замоткиным, мужем Нины Калистратовны. Тогда Агрееву-ребенку ярко представилось, как Нина Калистратовна за руку с дочерью и с ридикюльчиком в другой руке — идет; походка, конечно, необыкновенна, раз идут на квартиру давать пощечину, — надо было, должно быть, идти в присядку или раскорякой, что ли; семейным же очагом было нечто, вроде маньчжурки, обязательно железное, раз идут за него давать пощечину; и чрезвычайно любопытно, как Нина Калистратовна придет на квартиру, раз-

махнется рукой и — даст; и походка, и квартира, и руки все имело для ребенка сокровенный смысл, чрезвычайно любопытный.

Это осталось в воспоминаниях от детства, от маленького городка, провинции, где все было необыкновенно, как детство. Здесь, в Волчьем овраге, вспомнил это Агреев — и затосковал. Никто, никогда не пойдет давать за него пощечин. Какое варварство — пощечины, и нет никакого решения — в пощечинах. Была осень, и, когда стоял в овраге и ждал Ольгу, низко над головой пролетели журавли, выстраиваясь в стрелку и курлыкая нестройно. Потом с горизонта на востоке небо стало наливаться свинцом, небо стало зимним и над головой вспыхнула голубая Вега. Ольга пришла неожиданно, опоздав, сразу — вся с головы до ног — став на обрыве оврага, чтобы опуститься к Агрееву в овраг — в овраг.



Александр Александрович Агреев, семейный человек инженер-металлург, и Ольга Андреевна Головкина, учительница — девушка, живущая с тетей, окончившая восемь классов гимназии. Ее все звали Оля Головкина, и это было неправильно, потому что она носила древнюю русскую фамилию, славную еще Петром Первым и сенатором Головкиным. Но тогда еще, при Петре Первом, эта фамилия соскочила в низы,

чтобы оставить в этом городе Головкинскую улицу и дом на Головкинской, сдачей в наймы которого жила тетя. Агреев знал, что тетя — имени ее Агреев не знал — старая дева, имела одну радость, Олю, что тетя вечерами сидела у окна без лампы, поджидая Олю, и Олю, поэтому, возвращаясь со свиданий, обходила квартал, чтоб замести следы. О тете никогда не говорилось прямо, лишь вскользь упоминалось слово, как вещь, — тетя. Оля же была милой девушкой, о которой трудно говорить, очень похожей на ивовую лозинку, такую хорошую провинциалочку. Город разметался по холмикам среди полей и древних каменоломен, всей энергией своей город истекал в завод на том конце, — и случайный разговор, бывший весной в начале знакомства между Агреевым и Олей, — был в стиле и города, и Оли: Агреев сказал к чему-то:

— Бальмонт, Блок, Брюсов, Сологуб...

Оля перебила его поспешно, милая лозинка:

— Я вообще иностранных писателей мало знаю...

В городе, ни в гимназии, ни в библиотеке, ни в журналах, не знали ни о Бальмонте, ни о Блоке, — но Оля любила декламировать на память Козлова и говорила по-французски. Завод жил темной, нехорошей, трескотной жизнью, нищенки — рваной снизу и непривычно-роскошной сверху, — и завод пугал городок с его Головкинскими, Загорными, Спасскими улицами, городок жил среди полей, придавленный заводом и все же живущий своею какою-то жизнью.

За городом, в противоположной стороне от завода, в мраке лежал овраг, который назывался Волчьим оврагом. Правее, к реке, была роща, куда ходили гулять парами. В овраг никто не ходил, потому что он был совсем не портичен, без деревьев, скучен, не глубок и не страшен. Но он шел по холму, господствовал над окрестностью и, если лежать в канавке у его верха, видно все кругом на версту, а лежащие — сокрыты: Александр Александрович Агренив был семейным человеком. А мальчишки-пастухи, которые пасли на дугу стадо, заприметили, как каждый вечер летом с большака на велосипеде сворачивал в овраг мужчина, а потом, мимо них, проходила тоже в овраг девушка, спешащая, как гонимая ветром лозинка: мальчишки, как подобает мальчишкам, кричали вслед девушке всякую мерзость.

Оля все лето просила Агренива привезти ей книгу, почитать, — как она не заметила, что за все лето ни разу книги не привозил он ей.



Потом был вечер, уже в сентябре, после того, как несколько дней шли дожди и они не встречались, — когда случилось все, что должно было случиться, что бывает у каждой девушки раз в жизни. Они встречались всегда в восемь, и восемь в июне идут совсем не так, как в сентябре. Дожди

прошли, но остался холодный осенний, опустошающий ветер, и вечер грузился свинцовыми тучами, холодом, неуютом. В тот вечер летели на юг журавли, курлыкая в небе. Трава в овраге пожелтела и пожухла. Днем было солнце, и Оля пришла в белом платье. Пастухи, карауля стадо, кричали всякую мерзость. Обыкновенно они, Агренив и Оля, расставались здесь же в овраге. В тот вечер, поистине черный, Агренив провожал Олю до дома, и оба они были заняты только одной мыслью: — о тете, — что тетя сидит у окна без лампы и ждет Олю, или она зажгла уже лампу и готовит ужин? — Оле надо было во что бы то ни стало, чтоб тетя сидела у окна без лампы, чтобы можно было в темноте пройти в свою комнату, так как Оле надо было секретно от тети переодеться. Они, Оля и Агренив, шли даже не под руку, а тесно — рядом, склонив друг к другу головы и шепчась — только о тете. Оля не могла думать ни о боли, ни о радости, ни о страдании, — она думала о том лишь, как пройти, чтоб не заметила тетя. А Агрениву было скучно, жутко и тоскливо от мысли о скандале. — И у тети в окне был свет, и Оля Головкина затрепетала, как лозинка, от света в окне, прошептав хрипло, как крикнув:

— Я не пойду!..

Но все же она пошла домой, лозинка, гонимая ветром. Агренив условился с ней встретить ее на утро в заводской конторе, чтобы узнать, — в сущности, о тете, как тетя, минул или нет скандал.

В овраге, когда Оля, отдавшая все, плакала и прижималась к его коленам, в черной ночи совсем над головой, даже слышен был шелест крыльев, пролетели на юг дикие гуси, гогоча, встревоженные его папирсом, десятой под-ряд, — и защемило: «на юг, гуси, на юг!.. ты же никуда не уйдешь, раб, ненужный с ненужными!», и вспомнилась та пощечина, которую ходила давать за мужа Нина Каллистратовна и которую никто не даст за него — Оле Головкиной. «Оля — ненужное, случайное бремя!» Тогда в тот вечер от Головкинской улицы через весь город и потом по заводу, на инженерский поселок, проезжая на велосипеде кратчайшим путем, ибо за ночным мраком не надо было прятаться, Агреев думал не об Ольге, а о тете: о том, что она, старая дева, что у нее одно — Оля, и Оля скроет от нее свою трагедию, что она, тетя, целыми вечерами — целыми вечерами сидит у окна, одна, без лампы, — конечно, не для Оли, а потому, что всю жизнь она уми р а е т, как умирает город, где знают Козлова, как умирает он, Агреев, как умерла девушка — Оля. Как сильна жизнь! Какая трагедия в этих вечерах без огня, у окна!



Дома у Агреева горничная каждое утро приносила ему в кабинет на подносе уже остывший кофе. Агреев уходил на завод, когда все еще спали. На заводе были драные ра-

бочие, всячески — нищие до последней степени, остроты Бидки-ляг вагонеток, — на заводе был: завод, именем своим определяющий все. В обеденный перерыв Агреев приходил домой, мылся и слышал, как за стеной жена — белая Анна — гремит ложками. И это — вся жизнь. Чрезвычайно любовно, как Нина Каллистратовна придет на квартиру, размахнется рукой (какой рукой, — той, в которой ридикюльчик, или предварительно переложит ридикюль в другую руку?) и даст пощечину фельдшериде Часовниковой. Оля — милая Оля Головкина, от которой, как от всех, ничего не надо!

В тот вечер тогда пришла дочь, Ася, сделала книксен и сказала:

— Покойной ночи, папó.

Агреев задержал ее, посадил на колени, — любимую, единственную.

— Что же ты делала, Асинька?

— А когда ты уезжал в поле к Головкиной, мы с мамой играли в бегающую игру.



Утром в контору — якобы по делу — Оля пришла такая же, как всегда. И Оля радостно сказала:

— Тетя ничего не узнала. Она мне отперла без лампы и замешкалась в коридоре, и я проскочила мимо нее поско-

рее. Потом переделась и вышла к ужину, как ни в чем не бывало!

Гонимая ветром лозинка!

В конторе звонили телефоны, было утро, шелкали на счетах. В кабинете они были вдвоем, уговаривались, как встретиться вновь. Оля не хотела идти в овраг, потому что мальчишки говорят гадости. Агрнев не сказал ей, что дома у него все известно. Прощаясь, она прижалась к нему, как лозинка в ветре, и прошептала:

— А я сегодня не спала всю ночь. Ты заметил, я никак не называю тебя — у меня нет для тебя имени.

И просила, чтобы он захватил — не забыл! — книгу.

Город лежал на пересечении таких-то широты и долготы. О городе ничего не знали. О заводе же печаталось каждый год в промышленных ежегодниках и изредка в газетах, когда бастовали рабочие или заваливало рабочих известияком. Завод был акционерной компанией. Агрнев писал отчеты по своему отделу, отчеты тоже печатались, чтобы их никто не читал, и там стояло: «Инженер А. А. Агрнев». Оля же Головкина писала только ведомости и дневник, в ведомостях по своему отделению в начальной школе, против фамилий учеников она ставила баллы.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ



тром мама встала такой же, как всегда за эти бесконечно долгие месяцы: я привыкла звать мамой — мать Александра. На ней черное платье и в руках белый большой платок, который она так часто подносит к губам.

В столовой было светло. На столе чинно стоял чайный сервиз, и из самовара шел пар. Я уже привыкла, что столовая все время напоминает, будто мы уезжаем на дачу. Это происходит оттого, что спяты все картины, завешено висевшее здесь случайно зеркало.

Я обыкновенно встаю очень рано, моюсь и сейчас же берусь за газеты. Я раньше почти никогда не думала о газетах и они для меня были совсем безразличны, но теперь я не представляю без них жизни. К чаю я уже знакома со всем, что делается в мире, и рассказываю маме: мама не может читать газет.

Мама выходит из своей комнаты, бывшей Александра, высокая, вся в черном, и в ней какая-то строгость. Это все так, как должно быть. Она крестит меня, делует в лоб и губы, и, как всегда, отворачивается быстро и подносит пла-

ток к губам. Я знаю, она вспоминает, что Юрий убит, а Александр — там... и что я одна, ее, осталась с ней.

За чаем мы всегда молчим, мы вообще молчим, и только один вопрос она задает:

— Что в газетах? — и эту фразу она говорит всегда хриплым голосом. И я, очень волнуясь и бестолково, рассказываю ей все.

После чая до двенадцати я хожу около окон, вижу все прежний завод и поджидаю почтальона.

И так, за почтой, газетами, горем матери и моим, проходят дни за днями. И всегда, когда я жду писем, я вспоминаю маленький эпизод войны, переданный мне на эвакуационном пункте раненым прапорщиком. Он был легко ранен в голову, но я уверена, что он был психически ненормален или неврастеник. Он лежал на носилках, смуглый, с черными глазами и с белой повязкой. Я его поила, но он не пил чая, отставляя кружку и держа меня за руку, говорил:

— Вы знаете, что такое — война? — Не смеее, не можете знать?... А я знаю. Все знают, кто там были!.. Шли мы в штыки, понимаете? — в штыки, то-есть резать, колоть, кромсать друг друга, человекoв. В нас пулеметом стреляли. Ну, вот, шел рядом со мной рядовой Кузьмин, и в него сразу две пули попали. Он упал и, уже ничего не соображая, забыв, что я их офицер, как-никак, протянул ко мне руки и закричал: «Земляче-ек, — приколи!» Понимаете?! — «Земляче-ек, приколи!» — И вам не понять — не смеее!

Он говорил это, то шопотом, то крича.

Он говорил, что этого нельзя понять мне. Но я понимаю... «Земляче-ек, приколи!» — в этой фразе для меня слит весь ужас войны, и смерть Юрия, и рана Александра, и горе матери, и все, все, что дала война, — слит до боли в висках, до физического ощущения тоски. — «Земляче-ек, приколи», как просто, не человечески.

Я эту фразу вспоминаю каждый день, особенно часто в зале, когда жду писем. Александр пишет редко и сухо, о том, что здоров, и опасностей или нет, или они миновали; он пишет всем сразу — маме, мне и Асе.

Так было и сегодня, я ждала писем.

Пришел почтальон, принес несколько писем, и одно из них — от Александра. Я его вскрыла не первым, поджидая маму.

Вот оно:

«Родная Анна.

Вчера и сегодня — прорвало — тоскую и думаю о тебе, только о тебе. Когда живешь покойно, без передраг, тогда не замечаешь многого хорошего, — это я говорю о тех цветах, что посылаю тебе. Они растут как раз у окопа, а достать их страшно трудно, потому что можно быть убитым. Так я цветы эти и раньше видел, но как называются они, не знаю, и очень обидно.

Прощай. Люблю тебя. Прости за «армейский» стиль. Это письмо только тебе».

В письме были две фиалки, две маленьких голубых фиалки, которые растут сейчас же после снега.

Я дала — все же дала — прочесть это письмо маме — его матери, — и у мамы задрожали губы и потекли слезы. Она заплакала, но в слезах смеялась. И мы обе, я — молодая и мама — старая, мы обе плакали и смеялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Я раньше представляла войну фразой — «землячек, приколи». А теперь у меня оттуда — от Александра — фиалки, две фиалки, которые еще не завяли.

Я замечала раньше, что весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу. Помню в детстве, на даче. Все еще лето, все как всегда, но вдруг утром подул самый обыкновенный ветер, бросились в глаза красные листья виноградника, которые уже появились недели три, — и вдруг сразу чувствуешь, что осень, сразу меняется настроение и начинаешь собираться домой, в город.

Сколько лет я не видела ни осени, ни зимы, ни весны, не чувствовала их?

А сегодня я сразу — после давно-давно ушедшего лета почувствовала весну.

Я только сегодня заметила, что окна у нас замазаны, что на мне черное платье, что уже май, что уже в полях цветут колокольчики. Я забыла, что я молодая: сегодня я помню это.

И еще я знаю, что верю, люблю — давно люблю — Шуррика, Александра. И я знаю — пусть много ужаса, много

нелепого и безобразного, но есть еще прекрасная молодость, и любовь, и весна, и голубые фиалки, растущие на окопах.

Мы с мамой плакали и смеялись, вдвоем, тесно сжавшись на диване. Потом я одна ушла в поле, за завод — любить, думать, мечтать... Я люблю Александра — на всю жизнь, навсегда...

МОРЯ И ГОРЫ



Окопы — совсем не там в Литве, в Полесьи: в дождливую ночь на Виндаво-Рыбинском, в поезде, как окоп, — окопы в самой Москве. Рядом, в соседнем купе говорят:

— «А вы какой части?» — «Да-да, как же! Помните, там еще овраг, весь в валунах, и

озеро внизу, много в этом озере народу ушло в царствие небесное». — «Командир третьей дивизии, позвольте представиться».

— Братушка, дай закурить, пожалуйста. Из побывки мы.

Поезду идти в ночь на Ржев, на Великие Луки, на Полоцк. Вон братва забилась под скамью, пьет чай, очень довольна. За окном газовые фонари, в дожде — Виндаво-Рыбинского, и глаза у женщин под дождем под окнами, — как фонари в дожде. Пахнет нафталином, — «Где вагон коменданта?» — Женщинам в вагон — нельзя, — тут на войне —

одни мужчины, и пахнет уже кожей, дегтем и портянками, мужской запах.

— Да-да-да-да, хо-хи! Врет — вре-от. Нет-с, красавица, такого человека, который шел бы в атаку не сумасшедшим! — хохочет и говорит басом, очень довольно.

Третий звонок — «Где вагон коменданта?!» — «Что же, прощай!» «Хо-хо-хо-хо! Вре-от, врее-от-с, сударыня» «Мозоль я себе натер, буцы новые выдали, вот и натер обратно», — это из-под лавки и на лесенке, по которой взбираются на верхнюю полку, повесили новые портянки, со свежими казенными ярлыками и все же пропахнувшие уже потом. — Сдвинулись лакфиолевые фонари по дебаркадеру в ночь, сползли женщины и посильщики, козырнул дежурный, дождь стал косым, в смене стрелок ночь стала такой.

Ночью в дожде во Ржеве через окно лазили за чаем, в окно налезли оставшие с винтовками, поезд гремел манерками. Дождь хлещет, как веник в бапе. В коридоре братва недовольна проверкой документов. Под лавкой беседуют, военные пустяки.

А утро — в розовых облаках, — с деревьев капают капли, дождь прошел, светло, благоуханно. Великие Луки, Ловать, на станции кофе и солдаты, нет женщин. Поезд обходит контр-разведка. Солдаты, солдаты, солдаты, — винтовки, винтовки, — манерки: братва. И это уже не Великороссия, кругом еловые леса, холмы, озера и всюду на земле навалены

круглые точеные камни, валуны, — а на станциях из-под елей выползают молчаливые люди, летом в овчинных тулупах и шапках, и босиком: литва. Контр-разведка — как развлечение, длинный-длинный, пустой день, как праздник, и все уже знакомо: какой части, сколько ранен, в каких боях. В Великих Луках многие сошли — нет новых. Весь день тихо и празднично.

А к ночи Полоцк, белые стены монастыря ушли назад, Двина, прогремела по мосту. Здесь ездят уже только ночью, без расписания, без огней, и опять мелкий дождичек. Без свистков останавливается поезд, без свистков идет, и кругом тихо, как в октябре, — пад землей же ночь. С Полоцка на каждой остановке только слезают, никто не садится вновь, от каждой остановки по декавыльке до окопов тридцать верст. Такая усталость — после Москвы, слов, проводов, после бесконечного дня! Едва-едва светает, небо как бутыл из зеленого стекла, там сзади, на востоке.

— Вставайте, приехали.

Станция Будслав, крыша у станции съедена бомбой с аэронаука. На асфальте перрона, под кротегусами, в садике спят вповалку солдаты, книжная лавка к приезду поезда открыта, стоит заспанный еврей: Чириков, фон-Визин, Вербицкая. И где-то в отдалении, почему-то, так четко слышно, как хлопают руками в рукавицах. — «Что такое?» — «Это долбит тяжелая артиллерия». — «Где комендант, где тут комендант?» — «Спит комендант»...



Неделя проходит в окопах, идет другая. Надо было бы записать все в первый день: теперь все сложилось, вот это, что там на луговине на проволоке висит человек и у него постепенно отваливается голова. Впрочем, я мало вижу. Днем мы спим. Почти нет ночей — июнь, о вечере я узнаю вот почему. Я живу в землянке и когда приходит семь часов, минута в минуту, — оттуда из-за болота начинают обстреливать землянку: через каждую минуту шлют пулю — чик. Еще минута и опять — чик. Выстрела не слышно за гулом остальных выстрелов, слышно как пуля втирается в землю и бревна на крыше. И это всю ночь, до семи часов утра, минута в минуту. В землянке нас трое, они двое играют в шахматы, я все перечитал, мне надоело и лежать, и ходить, и спать. Жизнь человека чрезвычайно скудна, потому, что в три дня — троим — можно все рассказать. Вчера прибежал солдат, ему в разведке оторвало кисть, он мотал огрызком руки и молил бестолково:

— Приколи, приколи-и, касатик!..

Иногда ночью мы выходим полюбоваться фейерверками. В землянку — это стреляют в нас или, чтобы нас первировать — втираются пули. чик! чик! — чик! Мы стоим и любимся. Вдалеке твякуют орудия, и вот весь горизонт дрожит

зеленым светом. Ракеты поднимаются непрерывно. Здесь были такие, какие пускали мы на Оке, были разрывающиеся на два медленные шара, были огромные диски, состоящие из сотни огней. Но ракеты исчезают, из-за леса ползут три световых пальца. Сначала они протянулись в небо, судорожно сжались и падают лихорадочно на нас, на окопы, вправо, влево. Наши гимнастерки в их свете кажутся белыми. В Полесье на могилах ставят огромные деревянные кресты, большие как у Гоголя в «Страшной мести»: сзади на холме стоят два креста, один скренился, повис на другом.

Все солдаты, солдаты, солдаты. Ни одного старика, ни одной женщины, ни одного ребенка. Ни одной женщины я не вижу уже третью неделю. — Вот о чем я хочу рассказать — о том, что значит — женщина.

На пункте, вне зоны обстрела, мы пообедали, — и за фанерной стеной засмеялась сестра: я никогда не слышал лучшей музыки. Других слов я не нахожу: лучшей музыки. Это сестра пробиралась к госпиталю, ее платье, ее прическа — какая радость! Она что-то говорила заведующему пунктом, — я не знаю лучшей поэзии, чем ее слова. Все прекрасное, все красивое, все целомудренное, что есть во мне, что дала жизнь — женщина, женщина. Вот и все.

Вечером я пошел в штабный кинематограф, я сидел в ложе. Когда потушили электричество, я написал на барьере синим карандашом:

«Я блондинка 22-х лет, с голубыми глазами. Но — кто же ты? Я жду?»

Я сделал жестокую вещь.

Это написал я, но у меня защемило сердце, я не мог сидеть в кинематографе. Я стал бродить меж скамеек, ушел на поселок, ходил вокруг костела, у которого не уцелело ни одного окна, и собрал букетик незабудок в капавке у кладбища. Когда я вернулся в кинематограф, я увидел, что в набитом кинематографе ложа была пуста: при мне вошел офицер, сел беззаботно, чтобы наслаждаться, прочел написанное мною — и стал другим человеком, я взглянул в него страшный взгляд, и он ушел из ложи. Я вышел за лим — он пошел к костелу. Я сделал жестокую вещь.

Это я написал о блондинке с голубыми глазами, — я шел и видел ее, и ждал ее, я, написавший. Во мне играли сотни оркестров, но сердце было сжато, точно его взяли в руки. Больше всего — больше всего во всем мире — я любил и ждал несуществующую блондинку, которой я отдал бы все мое прекрасное.

Я не остался в кинематографе и пошел в окопы. На холме стояли два громадных креста, я сел под ними и шептал, сжимая руки:

— Милая, милая, милая. Любимая, нежная. Я жду.

Там вдалеке взлетали зеленые ракеты, такие же, какие мы пускали над Окой. Потом забегали пальцы прожектора, моя гимнастерка стала белой, — и сейчас же

около крестов упал снаряд: это заметили меня и стреляли по мне.

В землянку чикали пули: чик! — чик! — чик! Я лег на нары, зарылся головой в подушку. Мне было очень одиноко и я шептал, вкладывая в слова всю нежность, какую имел:

— Милая, милая, милая...



Любовь!

Верить ли романтике, — что вот, через моря и горы, и годы есть такая, необыкновенная, одна любовь, — всепожаряющая, всепокоряющая, всеобновляющая — любовь.

В штабном поезде, что стоял у Будслага и где жили штабные офицеры, знали, что такая любовь у поручика Агрепева, одна, на всю жизнь. Жене, женщине, девушке, любящей один раз, когда любовь прекраснейшее и одно в жизни, принять героические меры, пройти все штабы, все контрразведки, чтобы пробраться к любимому, чтобы увидеть любимого, ибо — одно сердце, огромное, в мире и больше ничего.

Купе поручика Агрепева было в дальнем вагоне № 30-05.

Штабный поезд стоял за прикрытием. Огня зажигать не позволялось. По вечерам, занавешивая окна одеялами, собирались в вагоне командующего XX корпусом играть в железку и пить коньяк. Кто-то сострил, что между фронтом и мужским монастырем много сходства, и тут и там говорят только о женщинах, поэтому нет причин не посылать монахов на фронт для поста и молитвы.

Банк купил и держал ротмистр Кремнев. Вошел проводник пан Понятский и позвал ротмистра. Остальные остались за картами. Пан сказал ротмистру, что есть женщина, очень дорого. У ротмистра задрожали колени, он сел беспомощно на подножку и достал папиросу. Пан Понятский предостерег: нельзя зажигать огня. Пушки вдалеке гудели, точно приближалась почная гроза. Ротмистр Кремнев никогда не испытывал большей радости, чем в эти минуты, когда сидел на подножке, — физической радости бытия, физиологической. Пан Понятский повторил, что это очень дорого, что она — ждет, медлить нельзя. Пан Понятский вел его вагонными коридорами, во мраке. В вагонах пахло мужчинами и кожей, за дверками громко смеялись, должно быть за картами. Так прошли пол-поезда. Когда переходили из вагона в вагон, вдалеке вспыхнула ракета, и в зеленой мути блеснул желтый номер вагона 30-05. Пан Понятский отпер своим ключом дверь купе и сказал:

— Здесь. Только, пожалуйста, тише.

Пан же замкнул ключ за ротмистром Кремевым. Это было офицерское купе, пахло духами, на скамейке внизу кто-то дышал. Ротмистр Кремнев скинул тужурку исел рядом. На диване спала женщина. У ротмистра закружилась, онемела голова, сердце в купе покатилося, — ротмистр взял онемевшей рукой колено женщины. И тогда женщина потянулась, просыпаясь.

— Это ты, родной? — спросила женщина. — Вернулся.

— Да — я, — ответил ротмистр.

И вдруг женщина вдвинулась в угол дивана, беспомощно раздетая, протянула вперед руки, обороняясь.

— Кто тут? Уйдите! Уйдите, ради Бога!

— Что-о? Не ломай дурака

Дверь приотворилась, в дверь втиснулась голова пана Понятского, прошептала:

— Не стесняйтесь, ваше-ст-во, она так... Только потише, — и исчезла.

Больше не было слов, потому что в ротмистре, как во всех, сидел еще тот человек, который выходил у станций из лесов, в овчине и босяком и который — «любил» женщину, глуша ее дубиной. Тогда, в купе, женщина бессильно сопротивлялась, и потому, что сопротивлялась, ему хотелось придушить ее, вдавить в подушки, еще больше насиловать, пока не постучал пан. Уходя, ротмистр засунул в чулок женщины две двадцатипятирублевки.

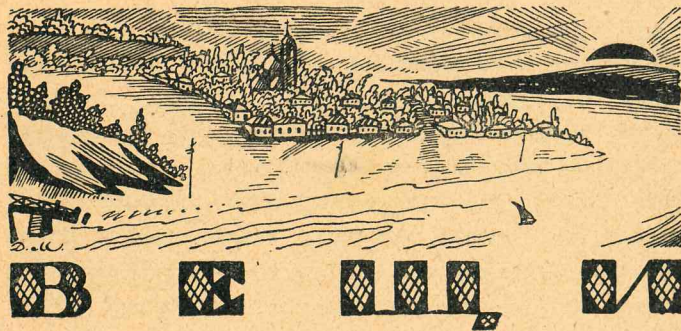
Любовь! Любовь через моря и горы, и годы.

У пана был ключ одинаковый для всех купе. Проводники проследили, что к поручику Агреневу пробралась женщина. Поручик на сутки был откомандирован в дивизию. Кто в темноте разберет, какой проводник отпер дверь и какой офицер насилował? Да и посмеет ли кричать женщина, раз она там, где нельзя ей быть, откуда ее просто выгонят, — и скажет — и скажет ли она об этом мужу — или любовнику? — разве знал Понятский о любви через моря и горы? — скажет ли она об этом мужу, другому мужчине?! — рассчитает, поди, обдумает, вымоется, — и никогда, никому, не расскажет... женщина... Почему не содрать лишнюю полсотню пана Понятскому.



Третьего дня, вчера, сегодня — бой, отступление. Штаб армии уехал в поезде, но штабные офицеры идут пешком. В каше человеческих тел, повозок, лошадей, пушек, орудий, извещений, приказов — ничего не разберешь. Пулеметного и винтовочного огня не слышно. Хлещет дождь. К вечеру кто-то сказал — проорал, что остановили. Застрелили в лесной сторожке. Ротмистр Кремнев в погребе нашел молоко и творог, — он, Агренев с женой, командующий дивизией, фендрики — пьют молоко. Братва разыскала

в лесу корову, зарезала, жарит и ест, притащили каких-то двух местных девок, их насилюют в очередь, они очень покойны. Все говорили, что надо лечь отдохнуть, — и не заметили, как пришел рассвет, — заметили же потому, что через сторожку загудели снаряды, эжонила поблизости русская батарея. Дали приказ идти в контр-атаку. Потащились обратно, в дожде, неизвестно почему — Агрнев, Кремнев, три женщины, братва.



ад рекой, тихой и серебряной, стоял каменный город: кремль, соборы, каменные дома, улицы, замощенные огромными булыжниками. В закоулке, замыкая тупик, стоит дом, одноэтажный, белый, с охровыми двумя колоннами, с конями на бельведере; за домом сад — выродившийся в дичь, весь в черемухе и сирени. Дом внутри мал; по фасаду идут три комнаты, потолки в комнатах низки, стены толсты, полы в ковриках, у окон цветы. В средней комнате, где дверь ведет под колонны, стоит рояль.

Тридцать лет тому назад приехала сюда девушка, молодая, беззаботная и радостная беспричинно. Тридцать лет прошло. Булыжины перед домом, тогда только что выложенные, проросли травой, из винокуренного завода слева перестроили казармы, и там утром и вечером играли прозрачную зорю. По соседней улице прошел трамвай. Город расплылся по горе, заполз за реку. У реки, у железнодорожного моста, зафыркала вальцовая мельница. Тридцать лет прошло, и старой женщине, с седыми буклями, в черном платье, надо было уезжать, — уже навсегда.

Была весна, цвела сирень, отцветала черемуха, на откосе, в канавках, зацветали ландыши. Она хотела вспомнить прошлое.

В доме не выставляли рам, было по зимнему; к Пасхе не убирались — откладывался отъезд со дня на день, — и на окнах лежала пыль. Вспоминала о том, что двадцати восьми лет начала изучать английский язык, а тридцати двух — музыку, тогда же купила рояль. Не сознавала ясно, — делала это затем, чтобы заполнить жизнь, чтобы, встав утром, знать свой день. Не изучила языка, не пошла в музыку дальше сонатинок «Черни». Тридцать лет тому назад, когда были подружки и милые секреты и старая тета вывозила на балы, — тогда несколько дней она была невестой, и тетка купила пружинную двухспальную кровать (только что входившую в моду), мраморный умывальник и будильник, играющий «Веверлея».

Ехать надо было через всю Россию, в такой же старьей дом, в таком же старом кремле, — ехать, чтобы там умереть. Мещанин, покупавший дом, в засаленном сюртуке, в лаковых сапогах и с хлыстом в руке, которым он тыкал в вещи и хлестал себя по лаковому голенищу, покупая по ценам, которые были тридцать лет назад, не скупился, хлопал себя по голенищу и говорил:

— Риант оставляете? Прекрасно... Запишем в общий счетец. Подытожим.

И она оставляла все.

Но за день до отъезда, когда в гостиной, среди комнаты, уже стояли пузатые, проеденные мышами баулы и валялся хлам, — в спальне, в пустом секретере, в нижнем ящике, увидела три записки. Одна была черновик неотосланного письма, она писала сестре на Волгу:

«Будешь проезжать мимо Самары, поклонись городу, давшему миру М. Д... Живу скучно, однообразно. Изучаю английский. Знаешь, сегодня — 24 июня, Иванова почь, когда цветут несбыточные цветы папоротника».

Эта записка была написана двадцать три года тому назад, семь лет спустя после того, как она была несколько дней невестой, и М. Д. — тот — он.

На другой записке, на лоскутке, неизвестно когда испи-санном, было:

«29 сентября, двадцать девятое, 29, 29... М. Д., М. Д... Михаил, Михаил. Проба пера».

29 сентября, тридцать лет назад, привезли умывальник, кровать и будильник, и в тот же день тогда, вечером, она перестала быть невестой...

Третья записка была счет из Москвы, от Юргенсона, счет по покупке рояля.

Были сумерки, когда она читала эти записки, солнце садилось, и красные лучи шли через сирень в комнату, выкрашенную синей краской, и темную. Она стояла, тонкая, в черном платье, в седых буклях с тремя пожелтевшими листьями в тонких пальцах, сжатых золотом колец и браслета. Затем она расстегнула свой ручной чемоданчик и спрятала тщательно эти записки, на дне, за баночками с косметикой, за связкой нотариальных бумаг, векселей и купчих, за золотом. Потом она пошла в сад; цвела сирень, отцветала черемуха, зацветали ландыши, поздно ночью запел соловей.

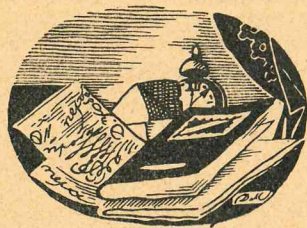
Небо было прозрачным, синим, легким, над городом стала тишина.

В дом она вернулась с воспаленными глазами, с платком у губ, сгорбленная, старенькая, прошла в спальню, стала на колени перед умывальником и поцеловала свято его мрамор, подошла к будильнику и прижала его к сердцу, к дряблой, пустой груди; прошла в зал, упала на лакированную крышку рояля, долго была неподвижна, потом проиграла глупенькую немецкую пьеску «Unter den Linden». Рассвет был алым и ясным.

Утром, когда пришел мешанин прощаться, она отменила решение, — повезла, потащила за собой через всю Россию умывальник, кровать, будильник, играющий «Веверлея», рояль и две английских книги, из которых одна была грамматикой.

В доме временно, до перепродажи, поселился мешанин, рубил дичь из сада для тонки печей.

Май 1918
Пески



ОГЛАВЛЕНИЕ

Целая жизнь	5
Смертельное манит	21
Смерти	30
Простые рассказы:	
Всегда командировка	44
Волчий овраг	51
Первый день весны	59
Моря и горы	64
Вещи	75





